

Россия и Центральная Европа с особым учетом чешско-русских литературных связей

Иво Поспишил (Брно, Чешская Республика)

Ключевые слова

Специфика ареала Центральной Европы, Россия, русские и Центральная Европа, восприятие русской литературы чехами – Масарик, его *Россия и Европа* и русская литература, русские в Чехии в XX веке – Роман Якобсон и *vota separata*

Key Words

The specific features of Central-European area, Russia, the Russians and Central Europe, the reception of Russian literature by the Czechs – Masaryk, his *Russia and Europe* and Russian literature, the Russians in the Czech Lands in the 20th century – Roman Jakobson and *vota separata*

Абстракт

Автор настоящей статьи старается проанализировать три особые темы, относящиеся к проблематике, выраженной в названии, т. е. специфику ареала Центральной Европы, его структуру и особые связи, именно с восточной Европой, главным образом с Россией, и, в особенности, чешское восприятие русского культурного и литературного феномена на концепции Т. Г. Масарика в его *России и Европе* и, в конечном счете, на примере брненской доцентуры и профессуры Романа Якобсона и так называемых отдельных голосов (*vota separata*), воспринятых как своего рода столкновение этих двух культурных пространств.

Abstract

The author of the present article tries to analyze the three specific subjects concerning the problems expressed in the title, i. e. the specific features of the Central-European area, its structure and specific relations, especially with East Europe, mainly with Russia and, above all, the Czech reception of Russia's cultural and literary phenomenon on Masaryk's conception in *Russia and Europe* and, finally, on the example of the Brno habilitation and professorial chair of Roman Jakobson and the so-called *vota separata* understood as a sort of the clash of the two cultural spaces.

При каком угодно объединении, при любых интеграционных процессах в Европе необходимо прежде всего учитывать ее мультинациональную структуру. Так называемый национальный вопрос до сих пор не смогла разрешить ни одна общественная система, т. к. он связан с биогенетической сущностью человека и больше всего объединяет человечество с природой и ее закономерностями. Миллионы лет развития, порой катаклизматического, а следовательно, и прерывистого, создавали формулы поведения и обращения, которые нельзя не учитывать (недоверие между народностями, проистекающая из языковых, культурных, цивилизационных отличий; проявления недружелюбия; инстинкт племенного самосохранения; геноцидный характер поведения и т.д.); некоторые политические системы пользовались и злоупотребляли этими формулами (национализм), другие пытались их подавить, но в конце концов капитулировали, принимая их как «черный ящик», табуизировали их или

старались использовать в борьбе за овладение миром (коммунистическое движение, военно-промышленный комплекс, бой против колониализма, карта так называемого третьего мира). Тактика замалчивания и табуизации, или же использование эвфемизмов, оказывается в Европе неплодотворной: в то время как в США насильственная антисегрегационная политика могла привести к временно приемлемым результатам, в Европе это – в связи с ее историческими перипетиями – намного сложнее.

Наряду с попыткой объединения возникает и новое разъединение: традиционными являются дихотомии Запад – Восток и Север – Юг. При этом каждый подразумевает под этими понятиями что-то свое. В культурном отношении, вследствие принятия латинского ритуала, Чешские земли относятся к Западу, но уже в течение длительного времени они скорее находятся на перепутье, так как большая часть Моравии принадлежит в геологическом, природном, цивилизационном и культурном отношении скорее к средиземноморскому ареалу, в то время как Западная Моравия и вся Богемия – к евроатлантическому, западноевропейскому пространству. Например, для французов мы, совершенно очевидно, находимся на Востоке; иначе говоря, Аш относится к Востоку, а Хельсинки и Стамбул – к Западу: это явно политическое распределение, сегодня уже не отвечающее действительности, но, к сожалению, до сих пор сохраняющееся. Притом, к примеру, украинцы и белорусы вообще не чувствуют себя частью Востока или считают сами себя Центральной Европой – под Востоком они подразумевают Россию, а еще вероятнее, Азию. Убеждения, скажем так, рядового гражданина ЕС являются намного более показательными, чем дипломатические позиции политиков и правительств. Исторически очевидно, что вся Европа принадлежит к средиземноморскому цивилизационному региону, истоки которого – в Восточном Средиземноморье, то есть скорее в Западной Азии, но нельзя отрицать и другие деления, например, арабское вторжение, церковный раскол 1054 г., монгольское нашествие и т. п. Эти интеграционно-дизинтеграционные тенденции покрывали морщинами тело Европы, и последствия их заметны до сих пор.

В поиске интеграционных ядер было предпринято несколько попыток, которые, по сути, исходили из раскрытия давних связей и их восстановлений и возобновлений. Одним из таких ядер является уже упомянутое выше понятие Центральной Европы. Значительную часть Центральной Европы формирует бассейн Дуная, о котором так увлекательно пишет итальянский германист Клаудио Магрис в канун «большого взрыва» в конце 80-х гг. 20-го века.¹ Дунай объединял немцев, западных славян, венгров, южных славян и затрагивал территорию восточных славян, преодолевая географические границы Центральной Европы и соединяя ее с Балканами и областью Средиземноморья. Одновременно с этим, однако, существенная часть Центральной Европы тяготела не к Дунаю, а к балтийскому и североморскому бассейну, так что само сердце Европы с этой точки зрения разделено Чешско-Моравской возвышенностью на две культурные области (ср. чешский и моравский фольклор, в особенности народную песню), не говоря уже о Северной Моравии и целой Силезии (в нынешней Чешской Республике и Польше). Деление культурных областей в соответствии с бассейнами морей и рек имеет смысл; о нем говорят и приверженцы так называемого евразийского направления. Транзитивный импульс центрально-европейского региона хорошо отражен и в колебаниях великоморавского правителя, который наконец избрал для миссии христианизации европейский юг, то есть бассейн Дуная. Центральная Европа, таким образом, напряжена с нескольких сторон этнически, культурно, географически, а религиозно, - и в то же время она представляет собой центр, особенно по отношению к

¹ См. чешский перевод С. Magris: *Dunaj*. Praha 1992.

восточным славянам. Белорусский ученый-гуманист и литератор Франциск Скорина (предпол. 1490 – предпол. 1551), который родился в Полоцке и умер, возможно, прямо в Праге, учился в Кракове, Падуге и Праге, где, начиная с 30-х гг. 16 века, служил ботаником королевского сада и где издал свой белорусский перевод Библии. «Русская тройка» (Шашкевич, Головацкий, Вагилевич), кружок украинских галицийских писателей и деятелей культуры, действовал на территории Австрии со своими центрами в Вене и Буге, издавая там свои сочинения; печатался кружок, однако, и в Праге, в *Журнале Чешского музея*. Значительная часть украинской и белорусской литературы была распределена между украинскими (Киев, Харьков, Полтава), русскими (Петербург, Москва) и центрально-европейскими (Будапешт, Вена, Краков, Прага) центрами – то же относится и к южным славянам, склоняющимся к Вене и Праге.

По вопросу центрально-европейского централизма, и соответственно самого понятия „*Mittleuropa*“, в наше время высказался Нестор мирового литературоведения, бывший пражанин Рене Веллек/Уэллек (1903-1995). В первом из трех своих разговоров с Петером Деметцом на страницах альманаха *Cross Currents* он говорит об этом понятии довольно скептически в том смысле, что само по себе оно подозрительно, ибо его придумал Фридрих Науманн во время войны в 1915 г. Оно было – по крайней мере, по мнению Веллека, – составной частью тогдашней немецкой военной пропаганды и вело к созданию центрально-европейской монархии, которая была бы обширнее Пруссии. Сама концепция, с его точки зрения, является достаточно смутной, т. к. неясны границы этого понятия, которое, скорее, лишь выражает ностальгическое настроение. Рассказав о своем отце, который в качестве австрийского чиновника переехал из Вены в Прагу для того, чтобы с восторгом поддержать новую Чехословацкую Республику, он отвечает на тот же вопрос снова. Петер Деметц несколько провокационно возвращается к нему, когда на жизненном примере самого Веллека (чешские и немецкие школы, Вена, Прага, противоречивые движения между востоком и западом, севером и югом) показывает, насколько он *mitteleuropäisch*. Веллек признает, что он среднеевропеец с отчетливым отношением к чешскому, немецкому и английскому языкам, но одновременно указывает, что старая *Mittleuropa*, какой она была при Австрии, невозможна уже и вследствие советского вторжения, начиная с 1944 г. (разговор состоялся накануне колоссальных изменений в этом пространстве на рубеже 1989 г.). Оба участника дискуссии выражают скепсис по отношению к среднеевропеизму. Веллек в заключение утверждает, что между Любляной, Прагой, Триестом, Будапештом и Веной не возникает особой коммуникации; в то же время он придерживается того мнения, что эти места объединяет их подход к Западу. Между славянскими литературами (например, в период реализма) не возникает каких-то исключительных взаимоотношений: сходства тут есть потому, что на них одинаково влияли западные литературы. Веллек здесь несколько упустил из виду во многом доминантное влияние русского реализма (источником для него, правда, тоже были западноевропейские литературы): благодаря восприятию его импульсов славянское вдохновение связывалось с социальными аспектами и поэтикой.²

Феномен среднеевропеизма оказывается, таким образом, многократно разломлен и формирует сложную, прерывистую сеть; он не является ни строго гомогенным целым, ни целым по своему происхождению: он возникает только постепенно, через сложное переплетение и сживание различных культур. Одновременно это целое, географически и геополитически изменчивое: нельзя даже приблизительно обозначить его границы: к нему относятся Северная Италия, Венето, Ломбардия с Миланом,

² I. Pospíšil – M. Zelenka: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno 1996.

Трансильвания – а возможно, и Валашский регион; Саксония, Бавария – или же Пруссия, Белоруссия и Украина; или же только части их территории, когда-то присоединенные к Австрии; а является ли частью Центральной Европы Подкарпатская Русь и Буковина? Это целое с изменчивыми и подвижными географическими и культурными границами – и в то же время объединенное культурными центрами, каковыми являются Вена, Будапешт, Прага, Краков, может быть, Дрезден и Лейпциг. Окраинные, периферийные части региона были тут и там «взяты под крыло» других регионов.³

Характерная расслоенность и разломленность среднеевропеизма часто приносила самые разные виды аксиологизации с позиции своих автономных и подчиненных частей, т. е. преимущественно национальных литератур, которые утилитарно редуцировали этот центризм – в особенности в экзистенциальные, судьбоносные моменты развития – до вопроса исторического выбора культурной ориентации. В чешском пространстве сложность центрально-европейского центризма, вследствие историко-географических детерминант, была упрощена до проблематики чешско-немецких соотношений. Именно вышеупомянутый Рене Веллек/Уэллек уже в середине 20-х гг. полагал, что для развития этих отношений является определяющей не дихотомия «больших» и «малых» литературы и народа, а культурный уровень воспринимающей среды, наша позиция, живая отечественная традиция, способная позитивно трансформировать самые разные импульсы эпохи.

На явлении среднеевропеизма можно продемонстрировать многоуровневость культурных феноменов, их противоречивый характер. Среднеевропеизм противостоит западноевропеизму, или «немецкости», но, кроме того, и югу и востоку; в то же время он неминуемо содержит в себе все эти элементы. Он, таким образом, складывается из того, что сам как центр отрицает, против чего создает свои центры. Структурно он определяется перемещением особого значения на отдельные компоненты целого: здесь он противопоставляет славянский элемент усиливающемуся пангерманизму, здесь он добивается своего среднеевропеизма, немецкости, пражской немецкости и еврейства, противопоставленных растущему давлению славянского востока, показывая, что он хотя и тоже славянский, но не только; но притом все же славянский, т. е. западнославянский. Это перемещение, непрестанное внутреннее переустройство феномена среднеевропеизма – его дезинтегрирующее, слабое место. Однако такая шаткость, оказывающая разлагающее воздействие, одновременно является и его стабильностью: то, что непрочное и нечетко установлено, то, что не имеет определенной территориальной, этнической, идеологической формы, что подвижно и смутно, столь же сложно полностью и бесследно уничтожить. Дело в том, что отдельные компоненты центрально-европейского центризма не становятся альтернативными параллелями по отношению друг к другу: они дивергентно воздействуют друг на друга, но один не способен подавить другой. Несмотря на распад Австро-Венгрии, подунайской монархии, о которой так вдохновенно пишет К. Магрис, несмотря на возникновение преемственных государств, среди которых была и Чехословакия, феномен среднеевропеизма не перестал функционировать как стрелка на весах. Невозможно было полностью подавить феномен Австро-Венгрии, ставший – пусть и неудавшейся, насильственной и деформированной – попыткой конституирования неустойчиво стабильного, равновесного состояния центрально-европейского центризма. Классическим примером является здесь культурный и литературный феномен центрально-европейского бидермейера, который как литературное направление, или

³ См. I. Pospíšil: *Střední Evropa a Slované*. Brno 2006.

течение, вообще был связан с проблематикой переходных эпох и который, кроме своего югонемецкого тыла, модифицировался в альтернативную стилевую тенденцию.

Феномен Центральной Европы, таким образом, после всех исторических перипетий проявляет себя скорее как духовное, чем реальное геополитическое пространство, как центр стечения разных культур и народов, как в определенном смысле интеграционное ядро, создающее важную промежуточную стадию в преодолении различных расщеплений на пути к сложному образу современной Европы.

Центральную Европу формировали не те только народы, что автохтонно жили здесь с некоторого времени, но и другие. Отношение Центральной Европы к России и русским относится к ключевым. В особенности отношение к средневропейским, т. е. западным, славянам был важным: поэтому здесь мы сосредоточимся именно на перипетиях чешско-русских отношений.⁴

В чешско-русских связях вообще, и литературных в особенности, наблюдается черта, которую мы могли бы с некоторой долей преувеличения назвать *Naßliebe*:

⁴ См. разные наши и другие статьи, монографии и сборники по поводу проблематики Центральной Европы и чешско-русских культурных и литературных связей, отношений и судеб русских интеллектуалов в Чешских землях, на которые мы в этом тексте опираемся: I. Pospíšil: *Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů)*. Dialog kultur III. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004. Ústí nad Orlicí 2005, s. 17-24. I. Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien), S. M. Newerkla (Wien): *Litteraria Humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies in Their Central European Context*. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2005. I. Pospíšil (Brno), M. Moser (Wien): *Comparative Cultural Studies in Central Europe*. Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno 2004. I. Pospíšil (ed.): *Areál – sociální vědy – filologie. Kabinet integrované žánrové typologie*, Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2002. I. Pospíšil (ed.): *Litteraria Humanitas XI, Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křižovatky kultury: Střední Evropa, Перекрестки культуры: Средняя Европа*. MU, Brno 2002. I. Pospíšil, M. Zelenka (eds): *Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech*. Ústav slavistiky FF MU, Brno 2003. I. Pospíšil, M. Zelenka (eds): *Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět*. Brněnské texty k slovakistice VI. : *Slavistická společnost Franka Wollmana a Ústav slavistiky FF MU*, Brno 2004. I. Pospíšil: *Areál a jeho vztahy*. In: *Novaja rusistika*, 2009, No. 2, s. 70-78. I. Pospíšil: *Slavistika na křižovatce. Regiony*, Brno 2003. I. Pospíšil: *Ареальные исследования: между Центральной Европой и Россией*. In: *Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lucjanowi Suchankowi*. Pod redakcją Lidii Liburskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, c. 49-57. I. Pospíšil: *Literary History, Poststructuralism, Dilettantism, and Area Studies*. In: *Writing Literary History. Selected Perspectives from Central Europe*. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2006, c. 141-152. I. Pospíšil: *Literaturwissenschaftliche Technologie, Psychologie und Rezeptionsästhetik: die tschechische und slowakische Situation*. In: *Wissenschaft und Systemveränderung. Rezeptionsforschung in Ost und West – eine konvergente Entwicklung?* Herausgegeben von Wolfgang Adam, Holger Dainat, Gunter Schandera. Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2003. I. Pospíšil: *Pátrání po nové identitě. Rusistické a vztahové reflexe. SvN Regiony, Středoevropské centrum slovanských studií*, Brno 2008. I. Pospíšil: *Problema slavizmov i njegov kontekst. Primerjalna knjizevnost*, december 2005, št. 2, c. 17-32. I. Pospíšil: *Rusistika a některé obecné problémy současné literární vědy*. In: *Актуальные проблемы обучения русскому языку*. Ed.: Simona Koryčánková. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno 2009, c. 118-124. I. Pospíšil: *Средняя Европа и литературоведческая славистика*. In: *Slavistika, Knjiga IX (2005)*, Slavističko društvo Srbije, Beograd 2005, c. 35-53, и другие.

рецепция русской литературы возникает отнюдь не прямолинейно, а, наоборот, извилисто, часто нарочито антагонистически, в крайних позициях от восторга до критики и вплоть до сопротивления. Характерная для одной эпохи рецепция часто не соответствует установившейся позднее ценностной иерархии: иногда она отвечает русской рецепции того времени (издание Фаддея Булгарина в возрожденческой Богемии соответствует современному читательскому спросу на его произведения в России; то же касается и увлечения поэзией Евгения Евтушенко и т.п.), иногда – создает свою собственную шкалу ценностей, когда в самой России (СССР) иная аксиологическая шкала не могла или не смела сформироваться (еще большее в то время обожание А. Вознесенского, культ Марины Цветаевой, усиленный ее соотношением с Чехией, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Геннадия Айги и др.).

Определенную роль в чешской рецепции сыграл и регионализм в смысле специфики рецепции региона или университета. Так отличаются друг от друга Прага, Оломоуц, Брно, Острава или Градец Кралове, т. е. в способе восприятия русской литературы как объекта научного исследования, а скорее даже в предпочтениях и приоритетах исследуемого.

Главное сочинение Масарика *Россия и Европа*, которое является для нас основным источником информации, содержит русистику в широком смысле слова: собственно филологическая или, лучше сказать, литературно-критическая или литературоведческая русистика представлена прежде всего в третьем томе, изданном на немецком языке в 1995 г., на чешском языке – на год позднее⁵. Хотя мы будем учитывать русистику Масарика во всем объеме и в широком смысле слова, т. е. включая его русистские социологические и философские, или же историко-философские, размышления, опираться мы все же будем прежде всего на третий том, который изначально должен был быть ядром его *России и Европы*, а именно на исследование о Достоевском.

Чтобы понять Достоевского, кем он был очарован, Масарик погружается в глубокое и богатое по разработанным материалам изучение ключей к русской философии и общественному мышлению. Если мы посмотрим на первые два тома *России и Европы*, то увидим, что Масарик выбирает ключевые темы из русского развития по двум критериям: по тому, насколько притягивает его тот или иной округ, – это то, что он сам считает типично русским или отличающимся от привычных евроамериканских моделей (сам Достоевский, а также русская хроника или летописание, переходящее в историографию, категории русского монаха, т. е. тяготение к теократии, Владимир Соловьев, русский анархизм Бакунина и Кропоткина, а прежде всего – русская форма марксизма). Наряду с этим обозначается и другой критерий, которым является собственная близость Масарика к исследуемым явлениям: это выявляет или эксплицитную позитивную оценку, или трезвый, предметный, углубленный интерес. Там, где Масарик эмоционален, речь идет или о притягивании, или об отталкивании; там, где он спокоен, рассудителен, симпатизирующий и уравновешенный в языковом и стилистическом отношении, – там чаще всего возникает глубокое увлечение в смысле близости собственным взглядам и представлениям. Так его заинтересовали, например, предположительно первый русский философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856), представитель революционно-демократического русского западничества Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), Александр Герцен (Herzen, 1812-1870), некоторые славянофилы и западники, к примеру, Иван

⁵ См. об этом подробнее: I. Pospíšil: T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce, in: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 19. listopadu 1997, Masarykovo muzeum, Hodonín 1998, с. 5-13.

Киреевский (1806-1856), но в особенности его увлек своим дидактизмом и максималистским утопизмом Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889). Если в первых двух томах сочинения Масарик везде de facto выбирает спокойный, повествующий тон, его оценки уже поставлены, то в последних двух частях третьего тома, включающих помимо исследования о Достоевском в объеме ста пятидесяти страниц также медальоны, он все-таки более субъективный и эмоциональный.

В фигуре Федора Михайловича Достоевского для Масарика сконцентрировалась не только проблема России и Европы, но и его собственная, внутренняя проблема, которая не переставала мучить его всю жизнь: Масарик был намного меньше, чем он сам обычно утверждал, объективистским, сдержанным социологом и историком философии; именно здесь за чертами зрелого ученого проступает эмоциональность мораванина, который преодолевает или, по крайней мере, старается преодолеть в себе эту эмоциональность, старается обуздать свои этически необузданные физиологические силы прочной философской позицией, создающей надличностную этику, как раз на ниве литературы вообще и русской литературы в особенности ведет свой бесконечный бой за характер своей личности. Именно Достоевский провоцирует его к тому, чтобы задавать вопросы, которые имеют значение для него самого, а следовательно, являются экзистенциальным выражением самого Т. Г. Масарика: там, где Масарик касается России и русской литературы, он затрагивает проблему человеческого существования, и его вопрошение носит экзистенциальный характер. Это в первую очередь проблема нигилизма и анархистского атеизма, жизненный скепсис, связь религии и нравственности, убийства и самоубийства, человечности и народности и национального характера. Многие из раздумий Масарика над Достоевским приобретают черты, которые сегодня становятся еще актуальнее, чем вчера.

Несмотря на то что Масарик хорошо знает произведения Достоевского и с художественной стороны, они однозначно служат ему в качестве материала для философских и социологических размышлений. Порой его русистика в самом деле скорее философична, хотя и здесь он тоже выражает двоякую точку зрения на русскую литературу: притягивание и отторжение, *odi et amo*, *Naßliebe* – а его эмоциональность усиливается. В третью часть третьего тома *России и Европы*, названной *Titanismus nebo humanismus – Od Puškina ke Gorkému*, включены также части о Байроне и Мюссе: удивлен может быть лишь тот, кто не знает русскую литературу того времени, т. к. эти авторы, так же, как и некоторые другие, становились непосредственно составляющей русской культурной истории, ибо именно из них выростала великая русская литература периода романтизма и борющейся с романтизмом реалистической рефлексии.

Это собрание исследований позволяет еще глубже заглянуть в мастерскую русиста Масарика. Во вступительной части *Достоевский в русской и мировой литературе* (*Dostojevskij v literatuře ruské a světové*) он впервые отходит от Достоевского как философа истории и религии и пытается рассмотреть его как художника. Конечно, взгляд на искусство у Масарика является не взглядом на средства художественной выразительности или на эстетическое воздействие артефакта, а скорее на конгломерат влияний и линий развития: Достоевский, как кажется, больше всего обращается к Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Гончарову, Тургеневу и Толстому; анализ Байрона и Мюссе и здесь органичен. Тем не менее, вместе с этим Масарик признает, что знаток русской литературы, вероятно, заметит, что он не подходит к Грибоедову, Некрасову, Салтыкову и Островскому. Он признает их важное значение и не хотел бы заменять свое рассуждение историей современной русской литературы как целого. Здесь заметен ясный ценностный подход, избранный Масариком: Салтыкова и Некрасова он ставит не слишком высоко и полагает, что в русской среде их значимость

переоценивается. Наконец, Масарик делает самое интересное, меткое замечание: в связи с тем, что Достоевский знал произведения, посвященные так называемому нигилизму, авторами которых были Алексей Феофилактович Писемский (1821-1881) и Николай Семенович Лесков (1831-1895), Масарик в своем комментарии возвращается к творчеству Лескова – до той меры, в какой он соотносится с творчеством Достоевского. Например, он указывает на роман *Некуда* (1864), который либералы считали реакционным и даже доносительским, а консерваторы, наоборот, – слишком либеральным: как показали современные исследования, Лесков здесь описал и свои автобиографические впечатления убежденного радикала, ставшего впоследствии либералом и даже консерватором⁶. Тут очевидна, по сути говоря, социологическая ориентация Масарика и социологическо-психологическо-философское суждение о литературе: художественно ценным ему представляется прежде всего то, что несет мысли, несет способ познания и видения человека и мира; куда меньше его занимает «искусство для искусства», т. е. технологический подход (рус. «прием»), сама по себе эстетически действенная сцена или изображение стиля жизни или нарративной стратегии. Лесков для него заслуживает внимания, главным образом, как колоритный изобразитель русского духовенства в романе *Соборяне* (1872; чешский перевод А. Г. Стина – собственно говоря, Алоиса Августина Врзала – *Duchovenstvo sborového chrámu* появился в 1903 г. и является пока первым и последним чешским переводом этого мирового произведения), а не как самобытный художник. Литературное искусство он рассматривал как проявление духовной жизни – поэтому его типология русской литературы направляется стремлением познать Россию и проникнуть к ее корням, а не познать русскую литературу как художественную цепь. Сегодня Лесков общепризнанно считается самобытным русским литературным типом; благодаря своим идеям, языку, стилю и жанровой структуре, он считается автором, который был феноменом не чисто русским, а европейским, связанным с Европой. Очевидно, что до написания этого труда Масарик не знал произведения Лескова, которые вышли в начале столетия в 36 томах (советское издание под редакцией бывшего формалиста Бориса Эйхенбаума вышло в 1956-1958 гг. в 11 томах). Между тем, здесь он нашел бы свои любимые протестантские темы, т. к. Лесков был очарован различными протестантскими сектами, включая квакеров, которые уже тогда влияли на русских, и ценил в них то же, что Масарик: практическую помощь ближнему, в которой заключается их вера в Бога, так же, как у той американской пуританки, которая отправляла детей в путь.

Наиболее всего Масарик выдает себя в частях о Декадансе или, как мы сказали бы сегодня, о модернизме. Его предшественником он считает (и справедливо) уже А. П. Чехова (1860-1904). Критически он относится к Леониду Андрееву; впрочем, таким же образом, с позиции нарратологии, к нему подходит и Мирослав Дрозда⁷. Масарику не нравятся рационалистический расчет и аффектация Андреевских образов, и он не скрывает своего негодования: «Философскую слабость Андреева мы можем, например, понять на примере его *Иуды*: я не преувеличиваю, именно при чтении этого произведения я пережил нечто вроде душевной морской болезни: прекрасная, притягательная тема, но что из нее возникло! [...] Андреев также любит непривлекательные образы, в том числе и там, где они никак не способствуют

⁶ Подробнее об этом, вместе с ссылками на основную и дополнительную чешскую, русскую, западноевропейскую и американскую литературу, см. I. Pospíšil: *Proti proudu. Studie o N. S. Leskovovi*. Brno 1992.

⁷ M. Drozda: *Narativní masky ruské prózy. Od Puškina k Bělému. Kapitoly z historické poetiky*. Univerzita Karlova, Praha 1990.

прояснению и возвышению понятий – опять великая слабость [...] Космический, психический и моральный хаос представляют собой у Андреева и город и городская жизнь; культура и цивилизация крупного города порождает этот хаос, семья, общество, горожанин дышат дегенерацией и упадком. Апостолы, не понимавшие Иисуса, тоже были горожанами...»⁸.

Там, где Масарик сталкивается с крайними проявлениями интеллекта, со сконструированными идеями, которые небезопасны для человеческой целостности и причиняют человеку прямо-таки физиологическую боль („duševní mořská nemoc“), он всегда отступает и возвращается к своей моральной исходной точке, которая, по сути, утилитарна. Как он старается соединить утилитаризм с религией и в качестве образца приводит американское пуританство, которое он познал из собственного опыта, – точно так же он пытается применить утилитаризм и в литературе: то, что бесполезно для успешной жизни человека, он отбрасывает: обратим внимание, как часто он говорит о силе и слабости – под этим он подразумевает слабость художественную, но за ней неприкрыто проступает слабость и сила идейная и моральная: Андреев – как и Достоевский – предлагает больше решений и не избегает крайностей, а это бесполезно, приносит человеку мучения и вместо внутреннего очищения приводит его скорее в состояние хаоса и растерянности. Чистота и сила намного больше объединяет Масарика с Горьким, которого он ценит особенно в его ницшеанской фазе развития: гордый человек (русское слово «гордый» до 1917 года обладало скорее негативным значением, вроде чешского слова „rušný“, „nadutý“), родной брат Ивана Карамазова, должен был стать противоположностью Андреевских слабых интеллектуалов. Это, тем не менее, не исключает определенный вид теизма, который сам Масарик, в молодости колеблющийся, ищет и находит в чешской и мировой протестантской традиции, в то время как Горький создал для себя свое фейербаховское, антропологическое понимание богоискательства и богостроительства. Так что на первый взгляд перед нами предметность, утилитаризм, гордый и независимый человек, но за ними – тоска и упорный поиск духовного принципа, высшей идеи, Бога.

Масарикова «реалистическая» идеология научной критики наталкивается именно в русской среде на целый ряд произведений, которые уже предвосхищают тягостные вопросы экзистенциализма, релятивизма и амбивалентности постмодернизма: Ф. М. Достоевский (1821-1881) и А. В. Сухово-Кобылин (1817-1903) – это русские Кафки до самого Кафки, Н. С. Лесков – экспериментальный прозаик задолго до Дж. Джойса, М. Пруста и В. Вульф, А. П. Чехов – крайний скептик до Анатоля Франса и Андрэ Жида... Так мы подходим к главному вопросу, а именно к какой парадигме развития приходит Масарик: в доминантном философском основании *Старая Европа – Новая Европа, Россия – Азия* просматривается двойная линия: хотя Масарик близок к духовным течениям, здесь он отдает предпочтение ноэтическому направлению перед онтическим, реалистической литературе – перед спекулятивными исчислениями, литературе практики и познания – перед литературой контемплиативного существования. Подобным образом оба эти течения обнаруживал как в английской, так и в чешской литературе Рене Веллек/Уэллек (1903-1995) и за каждым из них признавал равные права. И в первую очередь он наблюдает уравнивание России с Западом и на этом поле, прослеживает, как рождается русский Руссо, Байрон, Гете, Бальзак, Гюго, и уже в меньшей степени задумывается, как это возможно, чтобы вечные имитаторы подошли к явлениям, скорее предугадывающим мировое литературное развитие, чем на протяжении столетий бредущим за ним, спотыкаясь. Проблема качественного русского переключения остается сегодня столь же актуальной, что и во времена

⁸ T. G. M.: Rusko a Evropa, II. díl, Praha 1996, s. 331.

Масарика: тогда взгляд на Россию был скорее критический, порой эмоционально-восторженный, позднее даже с обожанием, когда на эту литературу смотрели как на недостижимый образец. Кажется, что русская литература, которая является в своих положениях феноменом крайним, экстремальным (это доказывает и сегодняшний русский постмодернизм или так называемая альтернативная литература⁹), вызывает и экстремальные реакции. Их Масарик попытался избежать с помощью уклона к равновесию: тут его последователями стали, как уже было сказано выше, Карел Чапек и Вацлав Черный¹⁰.

В качестве иллюстрации русского внедрения в центр Европы и его сложных перипетий я сознательно выбрал личность **Романа Якобсона** и его брненскую судьбу потому, что именно он как бы воплотил это проникновение первоначально чуждого элемента в средневропейскую литейную форму, казавшуюся слишком по-австро-венгерски закостенелой, негибкой, доведя ее до состояния понимания, прочувствования и созвучия, так что слова Якобсона, произнесенные им в 1968 и 1969 гг. о том, что он чувствует себя чехом, вытекают из логики вещей и событий: от виллы Терезы, Пражского лингвистического кружка, самоубийства Маяковского, боя с брненской доцентурой и профессурой, бегства в Данию, Норвегию, Швецию и США – до мирового признания и славы. Впрочем, внедрение русских формалистов и их структуралистский период не касаются одного только Якобсона: для Словакии, например, намного важнее фигура Петра Богатырева, для Брно значим традиционалистский медиевист Сергей Вилинский, так же как для Вены и Брно – Николай Дурново.¹¹ Короче говоря, мы стоим перед проблемой русского межвоенного «нашествия» (в хорошем смысле этого слова) на Центральную Европу, ядром которой была межвоенная Чехословакия с тремя университетами в Праге, Брно и Братиславе, где между ними кипело персональное и идейное сотрудничество (Франк Воллман и его перемещения между Братиславой, Брно и Прагой, то же – Ян Мукаржовский, Альберт Пражак и т.п.). Это мирное и плодотворное нашествие, хотя и оно не протекало – как мы увидим – без насилия, является свидетельством не только того, что Россия имеет отношение к Европе, но еще и того, что Центральная Европа – это пространство, которое хотя и имеет свое территориальное и геополитическое ядро, но с точки зрения культуры является силовым полем, втягивающим в себя Запад и Восток; итак, вопрос не стоит таким образом, что Центральная Европа – это некий славный и бесславный

⁹ См. Robert Porter: *Russia's Alternative Prose*. Berg, Oxford/Providence 1994. I. Skoropanova: *Russkaja postmodernistskaja literatura*. Izdatel'stvo Flinta, izdatel'stvo Nauka, Moskva 1999. G. Nefagina: *Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch – načala 90-ch godov XX veka*. Minska 1998. G. Nefagina: *Dinamika stilevych tečenij v russkoj proze 1980-90-ch godov*. Minsk 1998.

¹⁰ См. далее: I. Pospíšil: *Několik poznámek k Masarykovu pohledu na Rusko a ruskou literaturu* (T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa* I-III. Ústav T. G. Masaryka, Praha 1996. *Svět literatury* 1997, č. 14, s. 106-109. I. Pospíšil: *Václav Černý a ruská literatura*. Slavia 1994, 3, s. 331-337. I. Pospíšil: "Stará" a "nová" komparatistika: pragmatismus a ruský maximalismus u Karla Čapka. *Opera Slavica* 1993, 1, s. 16-24. I. Pospíšil: *K voprosu ob otnošení T. G. Masarika k russkoj literature*. In: T. G. Masarik i Rossija. *Razvernutyje tezisy dokladov meždunarodnoj naučnoj konferencii*. Institut "Otkrytoje obščestvo", Obščestvo brat'jev Čapek v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburgskaja Associacija meždunarodnogo sotrudničestva, Sankt-Peterburgskaja Associacija družej Čechii i Slovakii. Sankt-Peterburg 1997.

¹¹ См. I. Pospíšil: *Razance a citlivost: K fenoménu Střední Evropy v meziválečném období (tři vybraná vota separata k brněnské habilitaci Romana Jakobsona)*. Slovensko-české vzťahy a súvislosti, zborník referátov a koreferátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 2000, s. 49-60, нем. вариант *Rasanz und Feingefühl: Zum Phänomen Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit*. In: *Litteraria Humanitas XI. Crossroads of Cultures: Central Europe, Kreuzwege der Kulturen: Mitteleuropa, Křížovatky kultury: Střední Evropa, Перекрестки культуры: Средняя Европа*. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, Brno 2002, s. 265-278.

пешеходный мост: вопрос и в том, что она была эпицентром истории и почему сегодня им не является или почему опять не могла бы им стать. Впрочем, это предполагает больше независимости, самобытности, выносливости и способности к гибкой стойкости, т. к. это культурное пространство дразнит как Восток, так и Запад (этой проблемой я занимаюсь в рамках другой своей работы).

Три брненских *vota separata* были избраны мною потому, что они представляют не только ли не идиллический, но наоборот конфликтный и неприятный эпизод из жизни Романа Якобсона, а поскольку о них было известно, то о них и писалось. Здесь я отталкиваюсь от компетентного исследования проф. Дануше Кшицовой и ее дипломантов, а также Милоша Зеленки в 90-х гг., который неоднократно описывал и анализировал данный эпизод. Мой взгляд, в сущности исходящий из тех же материалов, является в какой-то степени иным, не будучи в отношении предшествующих точек зрения полемическим: речь идет лишь о смещении акцентов и даже скорее об иной «установке» исследования – в большей степени реферативно, чем рефлексивно, скорее с позиций Якобсона, его жизненного пути и методологии его и Пражского лингвистического кружка, и в меньшей степени – с точки зрения принимающей среды. Я выбираю эту тему и потому, что развитие так называемого пражского структурализма и его корифеев – затронувшее всю тогдашнюю Чехословакию, как сегодня показывают новейшие исследования некоторых младших коллег нитранской школы, – было скорее противоречивым, а иногда и достаточно извилистым; и если мы говорим о структурализме как о чешском и чехословацком «фамильном серебре», то нельзя умолчать и об этих перипетиях.

Жизненный путь Романа Якобсона на территории межвоенной Чехословакии не был легким, хотя сегодня он сознательно идеализируется. Он проходил буквально между жерновами событий, таких, как: неудача в попытке добиться пражской профессуры; переговоры по поводу поста профессора по договору в Брно; звание доцента и его подводные камни; исключительная профессура; попытка стать представителем штатной профессуры; снятие с должности заведующего Семинаром славянской филологии и *de facto* бессрочная пенсия по причине существовавшего тогда расового законодательства Третьего Рейха; после окончания Второй мировой войны – расторжение трудовых отношений с юридически законным, но по сути политическим подтекстом; наконец, после долгих лет – почетная докторантура в брненском Университете Яна Евангелиста Пуркине. Курьез заключается в том, что кое-где одни и те же люди действовали прямо противоположно: например, Франтишек Травничек присвоил Якобсону звание доцента и контрастировал положительный отзыв о защите, а потом в качестве ректора подписался под отставкой Якобсона – хотя тогда в самом деле не было иного выхода. С удивительными перипетиями в 40 – 90-х гг. столкнулись и другие действующие лица, которые так или иначе стали частью брненской судьбы Якобсона. И необходимо осознать, что здесь начиная с 30-х лет существовал сильный политический фон, который у нас всегда и порой полностью определяет жизнь людей. Я бы сказал, что чешская судьба Якобсона, с годами изъятая из бури гнева, видится, скажем так, идиллически, и кажется, что так ее понимал и сам Якобсон, т. е. с американской высоты и расстояния. Тем не менее, реальные события, в которых отражается атмосфера времени или времен, демонстрируют как специфику центрально-европейского пространства в роли идеологического и методологического перекрестка, так и специфику вхождения других элементов и острую реакцию. По этой причине история Якобсона трансцендирует в более общие масштабы, которые могут быть важны для познания этого культурного пространства уже потому, что они могут повторяться или варьироваться. Более существенно то, как была попытка защиты

Якобсона в Брно принята университетским сообществом и в чем заключается фактическое ядро упомянутых отдельных мнений.

Прежде всего перед нами – если взглянуть хронологически – предложение об учреждении профессуры по русской филологии и о назначении доктора философии Романа Якобсона профессором русской филологии по договору: машинопись, которая нам предоставлена Архивом Университета им. Масарика, переполнена опечатками и прочими ошибками. Вообще здесь обосновывается, почему такая профессура на договорной основе необходима; причины вызывают улыбку, т. к. их стратегия напоминает сегодняшнюю: они не только научные, но, главное, непосредственно практические. Цитирую: «В научной необходимости и научной самостоятельности русской филологии нет никаких сомнений. Необходимость филологий отдельных национальных целых – наряду с филологиями племенных групп – является общепризнанной; тем больше оправданны независимые филологические исследования и их последующее распространение в столь выдающемся в культурном и экономическом отношении национальном целом, как русское, – точно так же выделяются из германской филологии исследования, посвященные английскому языку и литературе, из романской – об языке и литературе итальянских. А филологические специальности, касающиеся русского национального целого, сделались самостоятельными на заре славянской филологии как ввиду особого положения русского культурного развития, отличного от в целом единого развития западного, и ввиду узко лингвистических и этнографических взаимоотношений с народами неславянскими и даже неиндоевропейскими, населяющими в прошлом и настоящем территорию Российской империи, так и благодаря значительному и обширному исследовательскому труду, проведенному на Руси в этих специальностях». Так, конечно, можно, выделить из славистики все югославянские языки и литературы, и далее: здесь перед нами в зародыше первоначала русистской сепарации; она не была вызвана одними лишь послевоенными политическими мотивами – она подготавливалась в лоне славистики задолго до этого. Цитируем далее: «На нашем факультете (читай: на философском факультете Университета им. Масарика в Брно – И. П.), однако, также существует конкретная потребность в этой специальности, и не только по научным, но и по практическим причинам. На философском факультете Университета им. Масарика русское представлено только русскими лекциями по русской литературе, которые читает С. Вилинский, договорной профессор русской литературы; русская литература в полной мере заслуживает такого самостоятельного представительства; тем не менее, нельзя и дальше продлевать существующее положение вещей, при котором на нашем факультете вообще не читаются лекции по русскому языку. Профессорский состав пытался устранить этот серьезный недостаток в начале 1925 г. своими единогласными решениями от 7-го февраля 1925 г., а особенно от 7-го декабря 1926 г. об учреждении договорной профессуры русского языка и о занятии этой должности Н. Н. Дурново, что закончилось тогда отъездом Дурново в СССР (в Минск). В проекте, единогласно принятом на собрании состава 7-го декабря 1926, было подробно обосновано, почему необходимо познание развития русского языка для любого исследования чешского языка и в особенности его восточных наречий, а также для подготовки кандидатов чешского языка для средних школ, а далее – долг основательного научного изучения русского языка, вытекающего из присоединения Подкарпатской Руси. С практической точки зрения, этот долг существует не только в отношении образовательной системы Подкарпатской Руси; но и для наших средних школ необходимо, чтобы философский факультет был способен воспитать кандидатов русского языка, которые нужны для средних профессиональных школ и для обязательного русского языка в реальных гимназиях». Специальность

русской филологии, а вовсе не русский язык, обоснована своими широкими рамками, т. е. изучением языка – но также и культуры, этнографии и т.п. Следующий аргумент заключается в том, что нас не должны обогнать другие неславянские народы; и, наконец, в данной «кадровой» ситуации неизбежно, чтобы кандидатом договорной профессуры был иностранец, русский. Далее следует *curriculum vitae* Якобсона и оценка его научной работы. На проекте поставили свои подписи профессора Гавранек, Травничек и Соучек.

Ядро проекта как две капли воды похоже на отзыв на доцентскую диссертацию и прочую существующую научную деятельность доктора Романа Якобсона, который на этот раз его поддержали профессора Гавранек, Травничек и Воллман. Отзыв о поданной диссертации, однако, насчитывает на неполных полторы страницы больше, чем шестистраничный отзыв. Первая часть включает в себя краткое резюме с описанием чешского анабазиса Якобсона, в том числе вынесения его кандидатуры на пост профессора по договору; далее выделена его первая работа, т. е. рецензия на карты русских диалектов, труд о поэтике и метрике, из которых вытекает – как это показано Зелинским, Виноградовым и Томашевским – что эти работы Якобсона являются основными трудами русской формальной школы; затем, среди них названы работы по чешской литературе, а конкретно – *Základy českého verše* (1926), где допускается негативный критический отклик, и исследование *Vliv revoluce na ruský jazyk* (1921) с критикой А. Мазона. Собственно диссертация *Remarques sur l'évolution phonologique du russe*, которая вышла в серии *Travaux du CLP*, считается успешной, хотя отзыв на нее показывает, как сами авторы «боролись» с формулировками: первоначальную критическую часть они предпочли вычеркнуть, причем давили на то, что Якобсон, собственно говоря, использует результаты Трубецкого. Весь отрывок в конце концов звучит следующим образом (вычеркнутые позднее части приведены в скобках): «С некоторыми его взглядами члены комиссии не согласны (например, с распространением предположения Фортунатова о лабиализованных гласных в праславянском; фонемы к', г', х' скорее являются комбинаторными внефонологическими вариантами; он хотя и правильно подчеркнул значение акустической стороны, но все же переоценил его); также некоторые теоретические толкования в более поздних сочинениях точнее формулировал сам автор (или Трубецкой; на примере корреляции интенсивности сам автор в *Travaux du CLP* 4, стр., Трубецкой вводит понятие без ряда признаков, которое потом использует Якобсон). Но это несогласие с частностями или последующее развитие исследования не уменьшают позитивную исследовательскую ценность этой работы Якобсона. Эта работа, хотя ход ее был подготовлен с фактической стороны выдающимися трудами Шахматова и Дурново, а с теоретической – работой Трубецкого, означает серьезное (первоначально: *čestné*, достойное – И. П.) их продолжение и существенно обогащает и русскую лингвистику, и теоретическое изучение языка». (были исправлены многочисленные опечатки – И. П.). Далее здесь перечеркнуты имена докладывающих об этой работе, и негативная критика Мазона прокомментирована так, что свои замечания он не подкрепил ни единым конкретным примером. В заключение комиссия посчитала данную работу полностью удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к диссертации на звание доцента.

Из всей структуры отзыва становится очевидно, что тут скорее, нежели фонологический труд Якобсона, принимается во внимание целый комплекс разнообразных текстов, часто выходящих за пределы лингвистики в направлении к стиховедению и поэтике.

Из профессорского хора затем прозвучали три негативных высказывания, так называемые *votum separatum*. Первое из них представил профессор английской

филологии Франтишек Худоба (1878-1941), сконцентрировавшийся на разборе взглядов Якобсона из статьи *O dnešním brusičství českém*, который потом вышел в книге *Spisovná čeština a jazyková kultura* (1932). *Votum separatum* Худобы часто отбрасывается как проявление старомодности, консерватизма, национализма и ксенофобии, но все-таки обратим внимание – *sine ira et studio* – на его смысловое ядро. Худоба, в первую очередь, озадачен тем фактом, что Якобсон как «иностранец, только-только научившийся говорить по-чешски» (“*cizinec, který se teprve nedávno naučil poněkud česky*“), высказывается по поводу современного чешского языка и «обескураживает своей неуместной резкостью, а иногда и скрытой насмешкой» („*zaráží svou nemístnou příkrostití a někdy i zastřeným posměchem*“). Автор, которому принадлежит вотум, указывает прежде всего на волюнтаризм Якобсона: Йозефа Зубатого, некогда главного редактора журнала *Naše řeč*, тот называет «гениальным художником на ниве чешской филологии» (“*geniálním umělcem na poli české filologie*“), но «его очищающее творчество он подрывает и приводит к несерьезности» („*jeho očištné dílo podrývá a uvádí v nevážnost*“). Следующие страницы своего вотума Худоба посвящает тому, чтобы продемонстрировать стремление Зубатого к чистоте чешского языка. Одновременно он опровергает высказывания Якобсона о том, что так называемое «онемечивание» чешского языка является одной лишь демонстрацией, националистической политикой, для которой более подходящим определением был бы расизм. Худоба отвергает такое обозначение, а с ним и то, что с призраком германизации покончено. «Доктор Якобсон – абсолютный иностранец, который только-только научился говорить по-чешски и чешского языкового чутья не имеет и иметь не может, как показывают некоторые его работы, не исправленные чешским специалистом, как было в случае его статьи *O dnešním brusičství českém* (проф. Б. Гавранек), – забывает, что мы, чехи, не просто немцы, говорящие по-чешски, и что нам не может быть безразлично, является ли наша речь жалкой чешско-немецкой тарабарщиной, как недавно проф. Травничек назвал убогий чешский некоторых наших естествоведов. Он забывает и о том, что ни его правом, ни его задачей не является подобное вмешательство в наши усилия по очищению и отшлифовке нашей родной речи. Такого вмешательства не вынес бы ни один образованный народ, который как народ чего-то стоит, - и даже если бы дерзкий иностранец владел его языком на куда более солидном уровне, чем доктор Якобсон владеет чешским, а свои мнения навязывал ему более приемлемым способом, чем это делает тот».

Вслед за тем Худоба указывает на неточности и взаимоотрицающие утверждения в критике Якобсона в отношении редактора журнала *Naše řeč*, Йиржи Галлера. Если обобщить суть *votum separatum* Худобы, то мы придем к выводу, что автор с моральной и профессиональной точки зрения лишает Якобсона права компетентно высказываться по поводу чешской языковой политики, что он сомневается в бесспорности его научного метода (в сущности, он упрекает его в волюнтаризме, манипулировании цитатами, в аргументационной непоследовательности) и ловко приплетает сюда профессоров, бывших членами научного совета, и ставит их *via facti* в позицию против Якобсона (Травничек, Гавранек как чешский корректор работ Якобсона) или же неявно сомневается в их беспристрастности – хотя и не говорит об этом прямо. Вотум завершается, разумеется, протестом против утверждения проекта (вотум датирован 24-м января 1933 г.).

К вотуму Худобы присоединяется вотум профессора германистики Антонина Беера (1881-1950) от того же дня. Он в свою очередь отмечает модность лингвистической терминологии Якобсона, то, что некоторые труды тот знает лишь «из вторых рук», а притом критикует их, не зная их истоков (например, у младограмматиков). На обоих авторов вотума произвело плохое впечатление и то, что

Якобсон пишет в Праге по-немецки, хотя сам считает себя русским, что вышеупомянутую аспирантуру он закончил в немецком пражском университете, защитив написанную по-немецки работу о десятерце, а также и то, что он работает в редакции немецкого издания *Slavische Rundschau*. Беер доводит до логического конца негодование Худобы по поводу того, что онемечивание чешского языка Якобсон называет расизмом (в иных случаях он говорит о фашизме в языковедении) и иронически «гласит»: «Если мы хотим практически осознать приведенные высказывания доктора Якобсона, так вот как обстоит с ними дело. Наш самый передовой знаток чешского языка, Ф. Травничек, осуждая чешские выражения г-на доктора Якобсона, такие, как «neodvisle od toho, familiérní, bezprostředně, velkotovárna, pŕigozeně» (*Listy fil.* 49, 246), допустил здесь демонстрацию, вступил в область языковой политики, поддерживал расизм; а упрекая его в ошибках «jích význam», «Otcí a děti Turgeněva», «dle terminologie Fortunatova», он, по мнению г-на доктора Якобсона, забыл о том, что «против недостаточной грамотности нельзя сражаться механическими списками ошибок», что «перечисление таких ошибок – задача редактора, а не научного журнала» (стр. 88). Осуждая же германизмы, он позабыл, что, по мнению г-на доктора Якобсона, он должен предоставить доказательство того, что своим фонологическим или грамматическим строением они противоречат структурным законам современного чешского языка». Беер затем напоминает, что Якобсон непрямо назвал Франтишека Таборского «врагом современной культуры вообще» („nepřítelé moderní kultury vůbec“), и обращается к якобсоновской статье в журнале *Čin* (1930) *Romantické všeslovanství - nová slavistika*. Но он говорит не столько о содержании, сколько о тоне (Якобсон в своей статье высмеивает общеславянскую романтику, ура-патриотизм, причем буквально описывает, сам того не осознавая, собственную дальнейшую судьбу; этого, конечно, не знал тогда и полемизирующий с ним Беер): «... для ура-патриотичной риторики не осталось места уже даже в поздравительных и банкетных речах, разве что в приветствии какого-нибудь представителя славистики из Калифорнии» (таковым мог бы быть через несколько лет и он сам – И. П.).

А далее Беер сурово и, думается, небезосновательно, нападает: «Но я знаю о другом выступлении, которое принадлежало другому представителю «нового славянства», который провозглашал, что филологию нужно возвращать в духе марксизма-ленинизма; то, что никто не откликнулся, можно, по-видимому, списать на законы гостеприимства – причиной молчания было сострадание «новой жизни освобожденного народа», а с учетом масштаба – «свободного ученого по отношению к его правительству». Известно, что публикация праславянской грамматики запрещается и прекращается не в Калифорнии, а в другой стране. Выкажется ли доктор Якобсон против такого положения вещей в «новом славянстве» хотя бы так, как он поучает здесь нас? Где бы оказался – не в Калифорнии, а в той, другой стране, – человек, который против этого и против других подобных вещей бросается лозунгами «демонстрация», «расизм», «бой против культуры вообще»? Где бы он оказался, я не скажу. А у нас он получает звание доцента».

Третий *votum separatum* подписал классический филолог Франтишек Новотный (1881-1964), обратившийся к научному совету с просьбой установить гражданство доктора Романа Якобсона. Уже во вступлении читаем: «Доктор Якобсон является гражданином СССР. Исключительные условия, возникшие в России после революции, различным образом затронули жизнь русской интеллигенции и в особенности русских ученых. Из тех, что остались в России, часть живет в условиях большей или меньшей свободы, в зависимости от того, в какой мере они приспособились к программе правящей партии; многие из них были расстреляны, другие – задержаны. Среди покинувших Россию есть те, что были изгнаны из страны, но по большей части они все

же эмигрировали добровольно, чтобы избежать новой власти. Доктор Якобсон не принадлежит ни к одной из этих категорий. Он уже в течение нескольких лет живет за пределами своего государства, но не является ни изгнанником, ни эмигрантом». После этого фактографического введения с амбивалентным подтекстом следует процедурально самое важное, т. к., хотя порядок защиты диссертации этого прямо не содержит, «между нашим государством и СССР нет взаимности в таких вопросах, как образование и преподавательская деятельность. Невозможно себе представить, чтобы член нашего чехословацко-московского представительства был по своему собственному желанию наделен званием доцента в каком-нибудь из университетов советской России, то есть это возможно исключительно после рассмотрения его научной квалификации». Этими вескими аргументами Новотный завершает третий, а для нас последний, *votum separatum* с тем же негативным заключением.

Текст профессора Ф. Новотного приводит нас к биографическим сведениям о Р. Якобсоне, например, в той форме, в какой они указываются в уже цитированном выше заключении о защите. Из этого следует, что 10-го июля 1920 г. Р. Якобсон приехал в Прагу „jako spolupracovník sovětské misse Červeného kříže“ (как сотрудник советской миссии Красного креста; очевидно, здесь имеет место плохой перевод с русского языка: вместо „spolupracovník“ здесь должно было бы быть „pracovník“, рус. «сотрудник»); в октябре 1921 г. он уезжает оттуда, в 1920/21 учебном году, с позволения соответствующих профессоров прослушивает лекции в Карловом университете (Гуйер, Травничек); в конце 1921 г. он стал референтом советской миссии, где пробыл до 1. 11. 1928, когда был освобожден от службы. 9-го апреля в пражском немецком университете он был провозглашен доктором философии на основании диссертации *Zur vergleichenden Forschung über die slavischen Zehnsilber*. То, что предшествовало пребыванию в ЧСР, изложено ранее (т. е. классическая гимназия, обучение на историко-филологическом факультете Московского университета и т.д.). С учетом этих обстоятельств, моральные и технические процедуральные претензии, высказанные в каждом из трех *votum separatum*, не кажутся абсолютно необоснованными. Также известно, что развитие Романа Якобсона от упомянутой точки зрения к концепции евразийства, как показывает переписка с Трубецким, а далее к критике советского режима, было в США в период маккартизма проблематичным, и Якобсон неединожды был вынужден выражать свое критическое отношение к СССР.

Брненское резюме Якобсона продолжается деловым письмом из Министерства образования и народного просвещения от 23. 5. 1939, которое отправляет Якобсона в бессрочный отпуск в конце марта месяца 1939 г.; одновременно с этим его отстраняют от должности руководителя Семинара славянской филологии. В конце июня 1939 краевому ведомству в Брно было велено приостановить выплату служебного заработка и ассигновать от 1-е июля 1939 г. законную компенсацию в размере последнего жалования, «с условием Вашего постоянного пребывания на территории Протектората Чехии и Моравии». Якобсон в то время на этой территории уже не находился.

Следующим шагом стали три документа. В первом из них, с печатью от 5. 6. 1950, идет речь о протоколе обсуждения факультетской комиссии, которая на своем очередном заседании 31. 5. 1950 предложила академическому сенату отменить исключительную профессию Якобсона (членами комиссии были профессора и один ассистент, среди них – профессора Франк Воллман и Йозеф Курц). Ректорат впоследствии обратился к Министерству образования, культуры и науки с предписанием от 29. 1. 1951 об отмене декрета, т. к., цитирую: „Jmenovaný se zdržuje od dubna 1939 mimo území ČSR, od osvobození v r. 1945 nekoná své povinnosti jako profesor filozofické fakulty a působí na universitě v New Yorku, porušil tedy hrubě své pracovní a občanské povinnosti“. Здесь политическая подоплека заострена, хотя и очевидно, какие

«гражданские обязанности» нарушил Якобсон. Министерство образования, культуры и науки в предписании от 26. 2. 1951, которое за министра подписал доктор Валоух, уже сообщает, что «названный профессор своевольно покинул свою службу и с мая 1945 года не исполняет ни свою преподавательскую деятельность, ни прочие обязанности, вытекающие из его назначения исключительным профессором. Кроме того, он проявил свое враждебное отношение к народно-демократической республике ЧСР, к чехословацкому народу и народно-демократическому правительству тем, что он не вернулся на свою Родину из Нью-Йорка, хотя был обязан сделать это сразу же после освобождения в мае 1945 г. Этим своим поступком он провинился в грубом нарушении своих гражданских и профессиональных обязанностей гражданина народно-демократического государства». (исправлено правописание, устранены ошеломляющие ошибки – И. П.). Финальным аккордом становится провозглашение Якобсона почетным доктором брненского Университета Я. Е. Пуркине, словно обрамленное введением советских танков в августе 1968 г. и прославленным пражским выступлением Якобсона в 1969 г.. Тем не менее, текст проекта, который тогда подписали Арношт Лампрехт как заведующий кафедрой чешского языка, славянского, индоевропейского и общего языкознания, и ректор проф. Теодор Мартинец, и где в качестве аргумента приводится то, что Якобсон «присоединился к прогрессивному крылу и в борьбе за новочешскую литературную норму в тридцатые годы» („zapojil na progresivním křídle i do bojů o novočeskou spisovnou normu ve třicátých letech“), свидетельствует по меньшей мере о сложности жизненного пути Якобсона, его мнений, методологии и отношения к чешским масштабам, а также о разном идеологическом контексте и «установке» его труда.

Однако еще существеннее то, что «дело Якобсона» в брненских 30-х гг. обнажает всю сложность и противоречивость литейной формы Центральной Европы, ядром которой была межвоенная Чехословакия: оно демонстрирует формирование филологических методологий и их оборотных сторон. Формалистские, отечественные чешские формистские и немецкие корни структурализма на нашей почве сталкивались с иными традициями, в том числе с позитивистскими и духоведческими, временами и с религиозными и даже непосредственно католическими. По сути, они вносили в другую культурную и научную среду еще и австро-венгерское движение, научную общность (русское «кружковство»), но во многом также нетерпимость, излишнюю и поверхностную полемичность, журнализм и поспешность выводов, которые не всегда были подкреплены фактическим материалом, а иногда и манипулирование аргументами и политизацию. Кроме того они нечутко вступили в ту среду, где еще слышались последние отзвуки чешско-немецкой политической, культурной и языковой борьбы: в какой-то степени в случае Якобсона здесь отражается позиция представителя великого народа, языку которого ничто не угрожает; а что касается недостаточного сочувствия, то его больше проявлял Рене Веллек (1903-1995): хотя и он был критиком близорукого чешского национализма, но у него как у мультилингвального жителя Вены, по сути, выходца из чешской семьи высокого императорского чиновника, этот вопрос рождал больше чувств; тем не менее, и он прослушал курс германистики не только в чешском пражском университете, но и в немецком, и неединожды был обвинен – и по праву – в слабом владении чешским языком (впрочем, его плохо знал в молодости и будущий президент Масарик, о чем свидетельствует его любовная переписка) и непатриотичности.

Эти факторы в дальнейшем сыграли свою роль в последующем развитии Пражского лингвистического кружка с его склонностью к доктринерству, с его осуждением и нетерпимостью к другим подходам; в ряде случаев эти споры имели не только методологическую подоплеку, но и поколенческий, личностный и остро

политический характер. С одной стороны, таким образом, Якобсон привнес в чешскую филологию здоровый импульс, дискуссию, полемику, бесспорные научные ценности; с другой стороны, он проявил недостаточное вчувствование в автохтонное центрально-европейское, чешское и чехо-словацкое развитие. Хотя и можно сказать, что без определенной пробивной силы невозможно было бы вот так изменить масштабы в языкознании, стиховедении и поэтике, т. к. Якобсон перенес из революционной России революционность и коллективность и в науку, но с другой стороны, остается открытым вопрос, не были ли этим доминированием подавлены или отброшены на задний план некоторые отечественные течения, которые, например, лучше понимал младший на одно поколение Рене Веллек/Уэллек: об этом свидетельствуют и его попытки прийти к методологическому компромиссу, его увлеченность неоидализмом и психологией и интеграцией феноменологии; как показывает механистичность дихотомии *intrinsic – extrinsic* в его совместной с Уорреном теории литературы: ядро литературоведения является имманентным, структуралистским, а окружающая «плазма» - иной, относительной.